

● ● ●
А здесь—никуда не денешься—за стенкой скребётся мышь,
и медленный дождь царапает покатые скаты крыш,
и ночь с очерствелым пряником черна в полуночный час—
на Млечном Пути вольфрамовом никто не услышит нас.

Ах, комнаты ваши низкие и песни осипших птиц,
мои города безвестные, без адреса и границ!
И ветреная, неверная, хватившая кистеня,
пропавшая чья-то молодость. Как некогда и моя.

● ● ●
С веретеном за пряжей, с вышивкой на коленях;
холодно, а зимою—тусклый короткий день;
в небе ночные стражи, в звёздах его нетленных,
спутанные дороги и голоса сирен.

Бледностью лунной пьяный вечером бессловесным—
нет ничего под небом этим теплей, чем шерсть,
связанная едино, как полотно Зевеса,
здесь, на твоих коленях, нитка за ниткой, здесь.

● ● ●
Флаги на тёплых проспектах и улицах тёплых,
крем шоколадный на шёлковом галстуке вышит,
и неизвестным, простуженным временем года
веет в цветочные шторы довольное утро.

Место, в которое мы никогда не вернёмся;
пепел, полёта которого мы не услышим,
между пустячным значением нынешних суток
и пирогами с повидлом из школьной столовой.

● ● ●
На стене рисунок красный, белый на стекле,
именем своим украшен, спит Борисоглебск.

Керосиновые лампы, выговор простой
и ударного помола в магазине соль.

Что ни рыба там—белуга, с бани—самовар,
в оснеженном поле гулко ухает сова.

Без дорог и без названий, раньше и теперь,
а вверху, под облаками, колокольный кремль.

И никто уже не помнит новоселья их:
вековая пыль на полках стиснула архив.

● ● ●
Я разминулся с летнею порою,
когда июньский воздух утончённый
владеет суматохой поднебесной
и все ему и каждый подчинён;
когда ещё от превосходства зноя
среди зверья никто не утомился,
обитель их чащобную, лесную
добытчик-зверобой не посетил.

Я разменял на медные жетоны
остатки все от переездов долгих,
стою, и мне за ворот с крыш зелёных
стекает грязь столицы островной.
Не будь я столь застенчивым и грустным,
уже б спешил на поиски верёвки
и напрямик признался бы шофёру:
— Почтеннейший, а после—в «Англетер»...

● ● ●
Две карты—земли и неба,
и ручка, в которой шарик,
и яблоко, и сентябрь
на жёлтом столе.
Ещё был когда-то компас
и порох в железной банке;
ещё был когда-то август
и жизни—сто лет.

● ● ●
Где был Санкт-Петербург,
малина и щавель,
болотами вокруг
голодный ходит зверь.

У берега реки
коней—ни одного:
кувшинки, васильки,
дождливо и темно.

Один собор, как стог,
глядит который век
туда, где был восток
и где востока нет.

Топко становится—труден и долог
путь до конечной унылых прохожих;
шире, до крыш отдалённых, свой полог,
из прохуdivшейся будто рогожи,
небо откинуло; запад с востоком
встретились, и потекли дождевые,
по желобам и глухим водостокам,
тёплые грязные струи кривые.

Топко становится—пёстрые своры
выживших чудом собак осторожных
на животах из подвалов, как воры,
вылезли в мутную сырость творожных
серых дворов; обозначился эллипс
лунный сиреневый между домами
в пору, когда уже слышался шелест
трав, пробивающихся под ногами.

Не будь я восприимчив к обжитому,
пропахшему календулой и мылом,
простому бытию в патриархальной,
сугробистой по окна стороне,
не разглядел бы, как твои тюльпаны
среди февральской оттепели вышли
из-под земли в горшках за занавеской,
встречая отступление зимы.

Тогда ещё была пора метелей,
и солнце только изредка светило,
но лёд уже тончал, и наст ломался
под весом ненагруженных саней:
молчание природы истощённой—
проекты, перекрашенные наспех,—
тяжёлый снег и рыхлая дорога...
Пойдём сегодня вечером гулять?

Не было прежде такого рассвета.
Над разгорающимся небосводом
в выдохе первом ветра холодном,
в крыльях, захопавших справа и слева.
Из оболочки туманной, землистой
двинулись в рост освещённые сосны,
быстрой мигая жемчужною искрой,
каждая на наконечнике остром!

Мой табурет, ты скрипишь бесподобно,
ловко туман оживил твою песню!
Серый глашатай метнулся по лесу
прочь от упрямых лучей небосвода
к руслу реки. Не желаете кофе?
Чайник у нас старомодный, но марши
все наизусть заучил он—сноровки
не занимать ему, к радости нашей.

На полянах с ярким маком в жарком августе хмелеет
голова, когда медовый полдень солнцем ослепит
и наполнит воздух звонким серебром и липким клеем
завершившегося лета—семена отцветших лип.

День незримых окончаний и начал: пустое небо,
поворот лесной дороги, паутина, щавель, мак;
и трава, уже сухая, и погаснувший мгновенно
далеко на горизонте первой молнии зигзаг.

Обними меня сильнее оттого, что одиноко
в наступающих потёмках на покинутой земле;
оттого, что нас коснётся наконец другая нота,
далеко на горизонте лишь блеснувшая во мгле.

Душу мою погубили жёсткие камни дорог:
ночи посконные, горький табак папиросный;
прутья столбов, бесконечных столбов пограничных дорог;
угольный дым паровозный и дым папиросный.

Камни катились по насыпи, бились по днищу машин,—
пасти щербатые, пляшущие мостовые,—
это по ним я вышагивал, ползал, подковы крошил,
выстужен насмерть, от пяток до мозга,—навылет.

Эти лекарства—сквозняк в подстаканнике, голод в висках—
несколько лет или вёсен бесплатны, и только.
Вены оставят следы за собой на протёртых висках.
Сбудется то, что не может не сбыться. И только.

Одним косым лучом январь отметил
снег вотчины своей, перебирая
картинки на лубке, со снеговым же
над ними покрывалом облаков.

Средь них, всегда гонимых восвосяи,
и я мечтал, бывало, оказаться,
но лень у нас в роду превыше страсти
иных, способных запросто взлетать.

Где был бы я теперь с моей приязнью
к деревне с завалившимся забором
и, может быть, навеки ослеплённый
безлюдным алюминием равнин?

Забыл бы, для чего на самом деле
глядел через оттаявшие окна,
как Арктика над долгими холмами
заносит узкий месяца клинок.